

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

16

ПАРИЖ

1986

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Т. Венцлова, Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская,
П. Литвинов, Ю. Меклер, М. Окутюрье, В. Турчин,
А. Френдли, Е. Эткинд**

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1986

Адрес редакции :

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

Ольга Фрейденберг

БУДЕТ ЛИ МОСКОВСКИЙ НЮРНБЕРГ?

(Из записок 1946-1948 годов)

Время не состоит из отрезков. Его поток соединяет и переливает прошедшее с будущим, которых на самом деле нет.

Новый учебный год начался собранием всех преподавателей, которых поучал и напутствовал ректор. Такие собрания проходили "в строго обязательном порядке", посредством грозных приказов, почти кулаков. Всех переписывали, проверяли, докладывали списки ректору. Я впервые пошла на такой "акт". Ждали напутствий и жаждали: в августе вышло знаменитое по открытому полицейскому цинизму "постановление ЦК о Звезде и Ленинграде". Оно вышло перед приходом ко мне Б., который был, помню, поражен тем, что мы показали на весь мир, что искусство создается у нас по прямой указке регулирующего органа.

Уже внизу висели распоряжения не пропускать в зал в верхнем платье и "головных уборах": ответственность ректор возлагал на ... пожарную охрану.

Меня не пропускали. Я была в костюме и летней широкой шляпе. Снять шляпку я соглашалась только вместе с юбкой. Охранник убежденно мне сказал: "Все равно ректор снимет с вас шляпу, вам же хуже будет — стыдно".

Зал был полон блестящей гарцующей публики. Это было

время оглядки на "культуру", на границу; от нас требовали, чтоб мы не смели быть плохо одетыми. Горели огни, было торжественно и "грозно". Перепуганные ученые женщины сидели без шляп. Стояла густая "атмосфера" тщеславия. Я сохранила рядом с собой место для Тронского, но он молча улыбнулся и занял место подальше от меня. Я очутилась с Иоффе.

Каково же было наше изумление и разочарование, когда появился ректор, борец за галстуки и манжеты, в русской рубахе под пиджаком, с "расхристанным" воротом. Это символизировало перемену политического курса и поворот идеологии в сторону "великого русского народа", прочь от "низкопоклонства" перед Западом.

Первое, что сказал ректор, это о ремонте университетского коридора. Затем он пригрозил профессорам, чтоб они помнили это и не пачкали коридора.

— Не писать у стен! — пояснила я соседям, и они согласились со мной.

Затем пошли вещи более существенные. Ректор заговорил о постановлении ЦК, о дипломатической войне, о противопоставлении двух миров, границы и СССР. У него была такая фраза: "К сожалению, многие из советских людей увидели за границу. Это заставило их ослепиться показной культурой. Мы теперь должны разоблачить этих людей и их неправильные взгляды. Нужен величайший отбор людей, тщательная осторожность в отношении всего, что идет в печать".

Я думала: "Господи, да какой же это позор! И не стыдно публично говорить! Ректору перед профессурой!"

Вечер оказался мучительный. Десятки киноаппаратов стали ослеплять нас невыносимо ярким светом. Образовалась духота, от которой становилось дурно.

Я боялась потерять сознание. Комната была затемнена и наглухо закрыта "по приказу". Пот лился ручьем, билось сердце и стучало. Это снимали ректора.

Но не так ли мы все были заперты, и задыхались, и невыносимый, никому не нужный световой меч резал нам глаза, чтоб запечатлеть величие фигляров и палачей?

Итак, какое бедствие у державы: некоторые граждане, посланные самим государством грабить чужие земли, пробрались за границу! Какая катастрофа! Кто-то вырвался из Союза и увидел, как живут люди за тюремной стеной.

Сталин лопался. Было ясно, что тех, кто увидел границу, начнут преследовать, изолировать, держать вдали от незараженных советских граждан. Так и пошло. Их мучили, ссылали, не принимали на работу. Дезинфекция пошла, однако, и другим путем. Начали бить по голове. Было объявлено самым грозным образом, что граница есть зло, а мы — добро. Постановление ЦК в беззастенчивой форме напоминало писакам, что они — агенты тайной полиции, которые обязаны слушаться начальства и создавать "высокохудожественные произведения", иначе им дадут подзатыльник.

*

Одновременно было строжайшим образом велено находиться в бодром состоянии.

Возродились публичные поруганья. Первой жертвой стал Эйхенбаум. Его начали травить. Не было собрания, не было статьи, где бы не бесчестили старика, только что потерявшего единственного сына на фронте. Он держался превосходно, с достоинством, и за это его били еще больней. Но он ни разу не унизился, говорил в тактичной форме то, что думал — мягко, умно, с улыбкой, но твердо. Передавали его ученики, что человек он, по существу, нехороший; он всю жизнь не впускал Спиридонова в академическую среду, позже — на кафедру. Но он любил и понимал мысль, был европейцем, замечательно говорил — очень просто, тонко, глубоко культурно. Он был ученый и профессор.

Во время травли он внезапно лишился жены, с которой был очень близок. Он несколько дней не выходил. Но когда вышел — никто не заметил бы в нем никаких перемен /.../.

Не знаю, было ли когда-нибудь в истории что-либо подобное! Такое официальное государственное признание, что все люди — идиоты, слепцы, "уклонисты". Если Сталин, угрюмо молчавший, изрекал неумное и обьденное, с плоской и хитрой мыслью, слово — его "изучали". У Сталина хватило нескромности заставить "изучать" всех служащих и рабочих свои старые газетные статьи. Наконец, биография Сталина (и для рифмы Ленина) сделалась предметом университетского и общевузовского образования. Ее преподавали, ее сдавали на экзаменах. Чего же еще позорней! У диких народов, там известно: только шаманы владеют истиной. У нас ни Академии, ни Университеты истиной не владеют. Один Сталин.

Ни один человек не мог считаться ни умным, ни талантливym, ни благородным. Я хочу сказать: ни один имя-рек. Если побеждал футболист, шахматист (кстати: исчез что-то Ботвинник, и его имя больше не фигурирует), музыкант, то это был не он, а сила Сталина, стоящий за ним "народ", чьим он был лишь орудием. Все победы, все успехи, все достижения на войне и в труде шли в карман Сталина. Это отражалось в языке. Появился стоячий эпитет "сталинский". Он прилагался ко всему положительному, к людям, событиям, временам года, вещам, местностям. Слово "хорошо" исчезло, потому что его, как понятия, не стало. Говорили: "неплохо", "не плохо". В языке сказывалось подхалимство и взнуздыванье, вздуванье понятий о чинах: "верховное главнокомандованье" или "академик профессор такой-то". Опошлялись высокие и сильные значения слов: "неугасимое пламя соцсоревнования"... Слова, как "родной", "любимый", "друг", "отец", "учитель", прилагавшиеся ежеминутно к Сталину, стерлись и стали почти юмористическими (или "мудрый"). Таковы были значения слов "подъем", "воодушевление", "энтузиазм", рыночные сталинские слова ("собрание с большим подъемом приняло обращение к товарищу Сталину" и другие клише). Язык стал содержать куски общих мест, полицейский эпический язык. Одинаковые мысли, одинаковые стоячие выражения никогда не грешили ошибками. Только письменные слова неизменно становились "грубейшей ошибкой". Культура языка была низкой. Опошлись высокие смыслы. Масса безграмотной пошлости ("психует", "ни в какую", "на большой палец", "она переживает" и тысячи блатных слов из воровского арго) вошла в язык наряду с газетным напыщенным стилем, невыносимо фальшивым. В научной литературе преследовались иностранные термины, а газета орудовала такими словами, смысла которых не понимала и я. А ударения! Гремели о великом русском языке, а Сталин говорил по радио "кблос на глиняных ногах" (вм. колосс!). Эти нюрнбергские молодчики из Москвы заперли страну и хлеба не дали права кушать. Они называли себя "министрами"! Косыгин, председатель этих министров, выступая по радио, начал: "По призыву великого вождя..." А дикторы произносили "Ге-те" (Гиоте), Конí, Мусорогский, Рéне, Шаляпинов. Французские имена получали ударение на предпоследнем слоге, немецкие — на последнем (последнее ударение было стихийно приня-

то всей Россией и уже вошло в употребление).

Однако, если конкретный человек не мог быть ни умным, ни талантливым, — эти качества принадлежали одному Сталину, — то абстрактный "советский" человек не смел описываться ординарно. Несмотря на вопли о реализме, реализм карался ссылкой. Единственный жанр, который культивировался, была схематическая утопия. Все персонажи имели свои утопические маски: суровые, честные, мужественные борцы; гордые, целеустремленные, героические девушки; низкие, гнусные шпионы и предатели. Малейшая правдивость клеймилась как "клевета". Русский народ изображался колхозным Ильей Муромцем.

В зиму 1947 года все эти черты сгустились до невозможности. Если когда-то мы еще старались в чем-то разобраться, что-то понять, "осознать свои ошибки", если верили в какой-то курс и в какую-то новую методологию, то теперь мы знали, что сегодня "нужно" так, а завтра — "этак", и уже старались догадаться, что стоит за кулисами новой травли, заметка ли какая в заграничной прессе, ссора ли Сталина с кем-то.

Был создан специальный журнал для травли отдельного человека — "Культура и жизнь". Но "установщики" выявляли друг друга. Так "Культура и жизнь" изъела у Пушкина "сцену под Кромами" (в "Борисе Годунове"), так как там бродяги приветствуют интервента. Вдруг "Правда" молнией испепелила "Культуру". Оказалось, не бродяги это, а великий русский народ, а Лжедмитрий... но я не берусь следовать за критикой в таких схоластических тонкостях. Итак, "Культура" была изобличена в "грубейшей ошибке". Даже партийцы из ЦК неизменно попадали в "уклон".

Затем организовали Академию общественных знаний, специальное гестапо по науке. В самом деле, а кто же будет устраивать слежку и душить произносящих лекции? Ведь цензура только для печати, а печатают как раз иные вещи.

И вот, предметом занятий "отделов" и "секций" этой Академии оказалась не сама наука, не сама специальность, а преподавание специальности, занятия наукой кафедрами вузов. По крайней мере, в деканат пришла циркулярная бумага со штампом Академии о сведениях по кафедре классической филологии: кто читает на кафедре, что читают, как читают, где печатаются, с точным указанием органа, года, тома, страницы.

Наша политическая система создала хорошую традицию:

обвиняемый сам предоставляет следственным властям все улики против себя, с точным указанием документации. Утаит что-либо, пострадает еще больше. И так уж повелось, что какая-нибудь невежественная "академия" не сама знакомилась с научной отечественной литературой, а сидела у себя, развалившись и ожидая, пока начнет доносить на себя тот или иной ученый. Мы смеемся, что у Гоголя унтер-офицерская вдова, якобы, сама себя бьет. У нас политическая техника куда выше. Что перед нами гоголевский полицейский! Сталин заставляет унтер-офицерских вдов самих себя сечь, и притом добровольно. Есть такое выражение у них, всем понятное, общенародное: "добровольная принудилровка", хотя правильной было бы сказать "принудительное доброволье" /.../.

После речи Жданова все последние ростки жизни были задушены. Европейская культура и низкопоклонство были объявлены синонимами. Создавалась искусственная культурная изоляция. Воскрешался тайной полицией русский XVII век, с ненавистью ко всему чужеземному. Но сейчас творится страшное дело. Людям, молодежи, простонародью внушается и бьется в голову извращенная информация о великой заграничной культуре. Но мы живем в XX веке, носим интстранное платье, живем среди европейских домов, утвари, всех внешних повадок; искусство, наука, культура овеяны заграницей, и вспять к Алексею Михайловичу нас можно отвести аналогией грабежей и фискальства. В больницах мы употребляем новые американские лекарства. База всей техники, все оборудование — заграничное или скопированное с заграницы. Смешно насаждать полицейскими мерами допетровскую Русь!

Иоанн Грозный — наш политический идеал. Петр Великий попал в крамольники, поскольку прорубил окно в Европу. Оживлен полицейский панславизм. Да что! Это держат в секрете, но этой зимой появилось тайное распоряжение не выдавать работникам науки никакой заграничной научной литературы, даже старой. Были составлены тайные списки, кому выдавать можно (например, западникам, классикам), но фамилии попавших тщательно "проверялись". Затем, нас секретно "инструктировали", что иностранной литературой нужно пользоваться только отрицательно: разоблачать, полемизировать и т.д. Сталин бросил лозунг "превзойти иностранную науку". Как логическое завершение, создано тайной полицией, по приказанию Сталина,

”Общество по распространению политических и научных знаний”. Изготовить швабру или метлу, выпустить в продажу чайник, кастрюлю, чулки — это никак не удастся. Об этом только горячо восклицают в ярусе бумаг и слов. Но, когда это нужно для трона, моментально организуются сложнейшие институты. Что такое это ”общество”? Всесоюзная осведомилка, но не пассивного, а активного характера. Работники умственного труда сделаны полит-агентами, массово напущенными на народ. Своими титулами они должны довершать то дело обмана, которое не под силу невежественным агитаторам.

Нельзя ни о чем ни говорить, ни писать. Всякая мысль задушена. /.../ Запрещается и русское классическое искусство, и классическая русская наука. Агент, официально именуемый руководителем Союза писателей, Фадеев, недавно выступил с большой речью, где он ”проработал” в площадных выражениях А.Н. Веселовского (”раба романо-германской школы”, псевдоученого, ”основоположника низкопоклонства перед заграницей”). Идет опять волна публичного опозориванья видных ученых. Когда знаешь, что это старики с трясущейся головой, с урологическими старческими болезнями, полуживые люди, от которых жены скрывают такую ”критику”, — впечатление получается еще более тяжелое. Сейчас публично опозорили, не пожалев площадных выражений, старого почтенного Шишмарева, больного Азадовского, немолодого и честного Проппа. Ждем дальнейшего. Сталин из года в год держит в напряженьи. Из года в год идет новая волна чисток, проработок, арестов, ссылок, травли. Человека давят всевозможными способами, физическими и психическими. Можно ли верить, что есть хоть один идейный партиец? Абсурд!

Искусство все сплошь, насильственно, ”внедряется” советское. Оно никому не нужно. Никто им не интересуется. ”Высокая художественность” насаждается политической полицией. Что передают по радио? Только советскую литературу, сплошь описывающую эпизоды войны, три года назад законченной и всем осточертевшей. Советская музыка сменяется ”русскими народными песнями и плясками”, которые должны заменить Бетховена и Вагнера. А газеты? Как они скучны, стерилизованы, вялы, тусклы! Долбят голову в заметках и по радио о различных местных процессах на заводах. Употребляются профессиональные термины. Рассказывается о блюмингах,

о подшипниках, агрегатах, турбинах. Описываются все детали технологических процессов: "новые способы электросварки".

/.../ Мне рассказывала одна артистка, что их всех собрали и предложили им одеваться изящно, но отнюдь не по заграничному образцу. Губную помаду, сказали им "директивно", нужно употреблять советской окраски, но не заграничной. Артистки эстрады остались в недоумении, что это за иностранный цвет губной помады и, обмазывая губы помадой не надлежащего цвета, не "допустят" ли они "грубейшей политической ошибки"?

У меня был студент Зайцев, совершенно исключительный мальчик. С трех лет он начал учиться, прикованный к постели неизлечимой болезнью. С семи лет он приступил к работе над античными языками. Его отец был большевиками расстрелян, мать — врач сослана. Он был единственным сыном.

Знания этого необыкновенного мальчика были феноменальны. Глубоко, по-настоящему образованный, он знал всю научную литературу на всех языках в области античности, Древнего Востока, всей основной культуры. Но его душой была философия, которую он возвел в примат своей жизни, — Платон был его идеалом. Выдержать теоретического спора с ним не мог ни один профессор. Я думаю, только Хона был бы в состоянии, — ординарных сил не хватало. Этот прозрачно-бледный юноша, с очками, с прямым взглядом, на каких-то слабых, спичкообразных ногах, в допотопном сюртуке, выделялся одним своим видом. Черты его характера поражали: он был "несгибаем", абсолютно упорен в поисках своего идеала, честен и прям до суровости, высок помыслами, необыкновенно чист. Но его внутренняя сила, целеустремленность с детства, непримиримое отношение ко всему, что он считал ложью и пороком, придавали его яростному и фанатичному к правде образу черты Савонаролы и воинствующего католика. Он верил в какого-то, сконструированного им самим, бога, но мистиком не был; идеалом его был Аполлоний Тианский, его учителем — Платон. Если Зайцев окончил школу и дошел до III курса Университета, то лишь благодаря своим феноменальным знаниям, способностям и торжествующей моральной силе, которая чудесно проводила его сквозь советский жизненный застенок. Нужно сказать, разложившийся советский человек, на-

сквозь лживый и растленный, вялый и опустошенный, не был борцом ни в каком смысле. Пока ему не приказывали, он не тащил в кутузку. Не все ли ему равно, Зайцев есть или нет. К тому же, никто не знал, что такое Аполлоний Тианский и надо доносить на него или нет.

Один раз увидев Зайцева, я перевела его со II курса на III. В три дня он сдал на пять все недостающие предметы. Занятия, которые я проводила на III курсе, стали для меня очень интересны. Я ожила. Я преобразилась. Воображение разыграло, душа воспарила и увлеклась. Я мечтала все сделать для этого юноши, подать ему руку, взять к себе, поставить на ноги: вот, наконец, был человек, которому можно было все отдать, все свои умственные и материальные возможности. Это был бы мне брат! Моральный облик юноши восхищал меня и отвечал мне больше, чем его научная мысль, значительно чуждая моей умственной душе. Ригоризм, маниакальность, непримиримость, чрезмерная дискурсивность суждений — этого я органически не переносила.

В то же время занятия с Зайцевым держали меня в таком напряжении, что я буквально обливалась холодным потом. Соня его ненавидела!. Он спорил, задавал убийственные вопросы, не устрашался отставивать идеализм и показывать гносеологическую несостоятельность материализма, который знал лучше всех наших "диаматчиков". Но ведь отвечать ему на прямо поставленные вопросы я не могла! Из десяти студентов 4-5 обязательно были осведомителями, — всякие комсомольцы, партийцы, обиженные двоечники и т.д. Такой процент еще самый низкий!

Зайцева пронизывала любовь к учению и к знанию. Он ел в жалкой студенческой харчевне, но забывал о еде, просиживая в библиотеках или посещая различные лекции, которые его интересовали, сверх кучи предметов обязательных, хоронивших под своей грудой мозг студентов. Он называл профессоров "святыми" и "богами". Так как он работал над Аполлонием, я дала ему в руководители Лурье.

В каждой любой стране мира такого мальчика выдвигали бы и гордились им. Из него вышел бы крупнейший ученый.

Однажды, по сдаче экзаменов на пять, Зайцев исчез. Его бросили в тюрьму. Он был опасен Сталину.

Детей арестовывали, как и стариков, без малейшей поща-

ды. Школы и высшие учебные заведения кишели сыщиками и провокаторами.

Зайцев жил, конечно, в общежитии. Это был "трудный" юноша, честный, полный моральных правил. Нелегко было завладеть его доверием и настолько приблизить к себе, чтоб он согласился у меня жить. Я осторожно подходила к нему, стараясь вызвать его уважение. Но было еще далеко до того момента, когда я могла бы дружески с ним поговорить.

В комнате Зайцева поселили "юристов", заведомых агентов, которые вызывали его на политический разговор. Такую миссию поручали любому "надежному" студенту, а для юристов это было начало практики.

Зайцев был слишком горд, честен, прям, чист, чтоб вуалироваться. Его поймали и предали.

Нужно сказать правду, что образ мыслей не интересовал большевиков. Они сами не имели никакого образа мыслей. Но они нюхали, следили, выслеживали, ловили в арканы только исключительно за моральный облик. Никто не мог думать, что Мещаниновы и легион им подобных Вознесенских всех рангов и профессий, разделяют несуществующую программу сталинизма. Была важна их "воля к повиновению", изворотливость, амбивалентность моральная, "гибкость", которая позволяла бы через них осуществлять любые действия и мероприятия. А что в душе думали эти тысячи продажных людей, до этого полицейскому режиму не было ни малейшего дела. Они не были, советские гестаповцы, ни иезуитами, ни инквизиторами.

Моральный облик Зайцева делал его неприемлемым. Партийная организация употребляла усилия, чтоб завлечь его на тайную службу. Он имел невиданное обаяние в глазах честного студента. Он изобличал товарищей, и его открытая правдивость производила громадное впечатление. Значит, убить!

Это несчастье произошло в конце первого семестра 1946/47 года. Я узнала о нем много спустя, дома, в случайном разговоре со студенткой. Его предупреждала она, молила. Но он отвечал: "Я с радостью готов принять венец мученичества".

Сколько отвращения, негодованья, горя клокотало в моей душе! Я не могла себе представить аудитории без Алика Зайцева, занятий уже не для него...

В моей преисподней появился еще один камень. /.../

Вчера ректор выступал по радио. Он главенствует в "обществе по распространению политических и научных знаний". Он говорил своим скрипучим и наглым голосом, с интонациями гнусавого дьячка (его отец был попом), о том, что до сих пор народы жили стихийно, а у нас первая в мире плановая и сознательная система, разумно регулирующая жизненный слепой процесс. Поэтому никогда и нигде наука так не стояла в центре, и основал государство ученый, Ленин, а ведет его величайший гений науки, Сталин.

Да, он прав. Обдуманность.

"Организационной основой гитлеровской партии, — говорил нюрнбергский обвинитель, — был принцип "фюрерства", на котором было построено все руководство германским государством сверху донизу. Утверждалось, что народ не может управлять сам собой, им должен управлять человек, который прошел гитлеровскую школу руководства. Только такой человек имел право занимать руководящие посты. Гитлеровская верхушка образовала касту носителей власти, представляющих гитлеровскую партию в той области, над которой они властвовали. Носитель власти обязан был наблюдать за всем, что происходило в его области".

Заменить слово Гитлер Сталиным, и картина нашей обдуманности и планирования! Тоже "построение и деятельность!"

"Руководство этой партии целиком подчинило себе германское государство, превратив его в орудие своих преступлений".

"Структура гитлеровской партии была пирамидальной. Во главе стоял фюрер... Вся Германия была покрыта сетью фашистских лидеров, которые следили за каждым шагом населения".

"Диаграмма гитлеровской книги "Лицо партии" показывает, что гитлеровская партия осуществляла полный контроль над жизнью каждого немца, начиная с 10-летнего возраста".

"Многочисленные документы показывают, что гитлеровцы нападали на церкви, громили и грабили священнослужителей (в оккупированных странах, не у себя), загоняли их в концентрационные лагеря, морили голодной смертью и избивали".

"Гитлер начал разгром профсоюзов... помещения были захвачены, а профсоюзы распущены. На заводах гитлеровцы

взяли в свои руки всю собственность и все фонды профсоюзов... Был издан декрет, согласно которому рабочим было запрещено вести переговоры с предпринимателями. Гитлеровцы назначили на заводах своих уполномоченных, которые узурпировали права рабочих и являлись одним из основных рычагов усиления эксплуатации германского рабочего класса”.

Тщетно я ждала минуты московского Нюрнберга: я видела, что до него не доживу. Напротив, в свете послевоенных сведений о достатках и культурной жизни немцев, стало ясно, что сталинская система обдуманного голода и разрухи еще зловейшей, чем гитлеризм. При Гитлере научные книги выходили. Наконец, Гитлер — немец, щадивший немцев. А наш грузин, этот жестокий и кровавый азиат, представляет собой тип внутреннего интервента. Его ненависть к Европе понятна.

Громадное облегчение и радость я ощутила в тот день, когда увидела, что за граница, победившая гитлеризм, взялась за уничтожение в Европе и сталинизма. Теперь я могу умереть. Я дожидаясь до признания, что еще двадцать лет и с лица земли сотрут этот рассадник аморальной инфекции.

Слушая и читая честных кретинов типа Эллиота Рузвельта, я думала: хорошо тебе книжки писать и курить сигары! Если б ты видел сталинские фабрики смерти, сталинскую все-союзную тюрьму, если б знал наш быт и видел опухших черных детей, ты сказал бы иное!

Так когда-то и Ромэн Роллан защищал Сталина, пока тот не обнажил окровавленных очков Вышинского. Тогда Роллан отвернулся от палача.

Наше вечное, всеобщее ”знает ли за граница!” нашло, наконец, разрешение. Да, знает! И эта мысль дает спокойно умереть.

/.../ Возможно, что усилится газетная травля, которая и сейчас преследует ученых и писателей. Мы живем в полной культурной изоляции. Уже не только основатели марксизма или узурпатор Сталин охвачены догмой. Сейчас догматизированы все представители мировой культуры. Не только о Ленине можно говорить лишь определенными стоячими формулами, но и о Гомере, и о Дюма-сыне, и об исполнителях на балалайке. Ни о ком нельзя иметь своего мнения, ни об одном явлении культуры.

Человека преследуют и медленно, непрерывно душат. На

него оказывают физическое и моральное давление. Кучка авантюристов говорит от имени подавленной, обезличенной, измученной массы. Давление таково, что нельзя иметь друзей по свободному выбору, нельзя переписываться с близкими, нельзя говорить в своей квартире, заселенной чужими людьми. Нигде и ни в чем нет свободы. Образ мыслей вылавливается из мозга, и как Сталин хотел бы изобрести особый рентген, чтоб залезать в душу и в печенку! Сейчас период полного изъятия духовной культуры. Искусство запрещено полицией. Гуманитарных наук не печатают. Биология, химия, физика объявлены "государственной тайной, не подлежащей разглашению". Вокруг однообразие и серость. Все застыло и обезжизненно.

До возмездия я не доживу. Я не увижу Московского Нюрнберга, того, о чем так мечтал, во что так верил оскорбленный дух человека и у меня, и у мамы, и у Дювернуа, и у многих других честных идеалистов, умерших в цепях. А Саша! Боже!

Записки я прекращаю. Сюжеты, формы, истолкования будут неизменно повторяться.

Я уже не верю в свободу и человечность, без которых жить не могу. Конечно, есть разные степени заключения. Мы живем прекрасно. Нужно сравнивать не с Европой, а с концлагерями и тюрьмами, с каторгой и фабриками смерти. Мы имеем право работать по специальности, ходить в театр, в кино, в гости, гулять свободно по улице. Мы имеем право топить печку и загорать на солнце. Наша категория — находящихся под надзором тайной полиции в большом городе-лагере.

Мне Б. говаривал: "Не осуждайте людей. Особенно советских". Он хотел сказать, что они поставлены в такое положение, в котором им, для спасенья жизни, приходится прибегать к любым средствам.

Но и не в этом дело. В отношениях к людям у меня отцовская природа, и как меня раздражала мамина непримиримая требовательность. Я убеждаюсь все больше и больше, что нет цельных монолитных характеров. Спиноза был прав, что добро и зло — это наши концепции природы. Нужно любить Тамару за простодушие и прямоту, мириться с сумбурностью и утомительностью. Нужно ценить преданность и понимание своих учеников.

Я широко помогаю всем людям вокруг, и в этом есть

большая радость. К советским деньгам у меня отношение брезгливое, я их получаю только для того, чтоб раздавать.

Такой бытовой, повседневной нищеты населения, государственных наших служащих, никогда не было ни в одной стране. Человек зонтика себе купить не может, и мокнет, болеет. Подаришь чулки даме, занимающей хорошее положение, — и такое для нее счастье! Я делаю самые ничтожные подарки, позорные, как кусочек мыла, носки, немножко масла, несколько огурцов, — и люди не верят себе! Вот для этого я служу, и все раздаю. Но на пенсию гнушаюсь выходить, так как не желаю брать сталинские подачки.

И я, слава Богу, не ношу в себе ожесточенья. У меня огромная потребность любить человека и больше прощать, — брать его таким, каков он есть, — а не требовать. Я вспоминаю мадонн на полотнах художников Возрождения и французский античный театр при Людовике. В области истории мы научились не переодевать древнего человека в европейские придворные костюмы. И в области духа не нужно одевать людей в себя. Слово "прощать" неверно. Именно прощать не нужно, нечего прощать и измерять универсалиями — это птоломеевская система морали!

Когда университет вернулся из эвакуации, всем покинувшим осажденный город были выданы медали "за оборону Ленинграда". Я, конечно, медали не получила и в душе радовалась, так как она была связана для меня с проклятыми воспоминаниями о проклятом городе. Но виселицы и ордена — основа всякого азиатского режима, и недаром мама называла Сталина Хозроем. Бляхи мы обязаны получать — массовые ордена и медали (почесть, но без выделения личности! новое понимание "отличия"!). Так вот, всему населению выдали бляху "За трудовую доблесть", и Казанский украсил ею свою грудь одним из первых. Через три года увидели по спискам, что у меня нет "За оборону Ленинграда", и велели пойти в участок получить ее. Я так и не пошла. Любопытно, ограничится ли дело отпиской в НКВД, пострадаю ли я за это или история потонет в канцелярских бумагах, или мою медаль продадут алчущему за 100 рублей? Пока не знаю. Это моя тайна.

Чем же я могу закончить эти свои записки? Для своей

эпохи, так сказать, по своей специальности, этим газетным фрагментом, символизирующим советскую науку:

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении звания героя
социалистического труда академику
Мещанинову Ивану Ивановичу

За выдающиеся заслуги в области филологических наук, исследование синтаксиса и морфологии русского языка, а также за плодотворную многолетнюю работу по подготовке кадров филологов присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот" академику Мещанинову Ивану Ивановичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН

Москва, Кремль, 10 июня 1945 г."

В последнее время я думала: нельзя обладать и талантом, и добродетелю, и счастьем. Выбор должен быть сделан. Я вместо счастья выбрала добродетель.

Меня всегда восхищала фраза Шаля о Сервантесе: "Из анализа его жизни он выходит с честью... героическим в своих бедствиях и *добрым в своей гениальности*". Последние слова — мой идеал.

(5 августа 1947 г.)

Ольга Михайловна Фрейденберг (1890 — 1955) — ученый, организатор кафедры классической филологии в Ленинградском Государственном Университете, Метод, которого придерживалась О. Фрейденберг в изучении архаического мышления, она сама называла палеонтологическим или генетико-социологическим.

Близкая родственница Б. Пастернака, Ольга Фрейденберг поддерживала с ним в течение 45 лет (1910 — 1955) переписку, которая составила интереснейшую книгу, переведенную на ряд языков.

Большинство трудов О. Ф. остается до сих пор в рукописях.

Мы публикуем отрывки из ее автобиографических записок "Пробег жизни"

БОРИС ПАСТЕРНАК



Переписка

с ОЛЬГОЙ ФРЕЙДЕНБЕРГ



Под редакцией и с комментариями
Эллиотта Моссмана

An Original Harvest / HBJ Book

A Helen and Lurt Wolff Book
Harcourt Brace Jovanovich, Publishers
New York and London



СОДЕРЖАНИЕ

МНЕМОЗИНА

Борис Шрагин. Искупление Юлия Даниэля. 3

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ЭМИГРАЦИЯ

Зиновий Зиник. Готический роман ужасов эмиграции 34

П. Вайль, А. Генис. Вся власть Сонетам 17

Глория Мунди. А где же ваши сонеты? 84

Наталья Рубинштейн. Баллада о Робин Гуде. 97

ИЗБРАННОЕ

*Игорь Померанцев. Брезгливость, Замешательство.
Любовь...* 96

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

*А. Жолковский. Лев Толстой и Михаил Зощенко
как зеркало и зазеркалье
русской революции.* 103

Интервью с Лоренсом Дарреллом 129

*Лоренс Даррелл. Фрагменты из Александрийского
квартета* 143

АРХИВ

*Ольга Фрейденберг. Будет ли московский Нюрнберг?
(Из записок 1946-1948 годов)* 149

Илья Зданевич. Борис Поплавский 164

СРЕДИ КНИГ

Игорь Ефимов. Дневник книгочея 170

ПОЧТА

N.N. "Ужасно досадно за «Синтаксис»..." 206



Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу
редакция в переписку не вступает.



Цена номера 55 фр.фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 200 фр.фр.

Пересылка за счет подписчика.